

Десоматизация и перспективы философско-антропологических проектов

В. Ю. Лебедев

Тверской государственный университет

Один из важных моментов бытия современной философской антропологии — десоматизация, ставшая результатом трансформации всей культуры, начиная с позднесредневекового периода. С развитием научной революции Нового времени ряд старых интерпретационных моделей, частью которых был десоматизированный человек, был маркирован как ненаучный, как вариант искусства и т.п. Десоматизация вносит значительные помехи в изучение, понимание и моделирование многих явлений и процессов, в частности, социальных. В условиях внедрения в методологию науки системного, холистического подхода десоматизация представляется рудиментарным явлением, требующим общеметодологической и частной научной коррекции во избежание философского тупика и реальных, практических неудач и ошибок.

Ключевые слова: антропология, тело, десоматизация, гуманитарное знание.

Desomatization and the prospects for philosophical and anthropological projects by V. Yu. Lebedev, Tver State University. Desomatization as a major issue of modern philosophical anthropology has evolved through the global transformation of culture at large starting with the late medieval period. The old interpretational patterns with desomatized man at their heart were labeled as non-scientific, or predominantly artistic, with the arrival of a New Era revolution. Desomatization interferes a great deal with the study, understanding and modelling of many phenomena and processes, including the social ones. Today, with the introduction of systemic and holistic approach into the methodology of science the desomatization poses as a rudimentary phenomenon in need of both general and specific method-

ological correction to avoid both the philosophical dead-end and failure in practical implementation.

Keywords: anthropology, body, desomatization, human sciences.

Становление комплекса дисциплин, связанных с проблемами интерпретации, происходило в период оживленного конфликта и размежевания «наук о природе и наук о культуре». Посткантовская онтология задала целый методологический вектор, приведший к последствиям в виде деантропологизации наук о человеке. Одна из причин — концепция трансцендентального субъекта, ставшая отдаленным предвосхищением «человека без тела». Антропологический деконструктивизм, сдержанный на какое-то время материализмом и натурализмом просветителей, особенно французских, в XIX в. в значительной степени определяет направление гуманитарного знания, постоянно находящегося в ажитированном стремлении доказать естественным наукам (а вскоре и социальным, в том виде, в каком они были именно тогда, с их позитивистскими установками) свою состоятельность — при почти полном безразличии другой стороны, предпочитавшей определяться с приоритетами развития самостоятельно. Комплекс биологических дисциплин в результате стремительно рос помимо гуманитарных концепций, конструирующих человека, выглядевшего, в координатах естественных наук, странно. Ситуация приобрела резкие черты по мере становления экспериментальной психологии с ее классическими доказательными и верификационными возможностями. Соматическое начало в гуманитарном мировоззрении было практически удалено, даже если на словах его существование и признавалось. Соматика и все, связанное с нею, исключалось из зоны проблематизации. Последствия сказались с некоторым промедлением, попытки классиков философской антропологии полноценно вернуть телесность в фи-

лософскую модель человека и дать ее серьезный анализ не смогли принципиально изменить ход гуманитарного знания о человеке (превращающегося исключительно в симулякр, социальное тело и т.п.), направление которого было взято еще в момент «скандального размежевания» наук.

Забавным, хотя и показательным, является историко-философский миф о «бестелесности Средневековья», возникшей якобы в результате аскетического отрицания плоти, плотского начала, не смотря на то, что даже в самых последовательных вариантах ортодоксальной христианской аскетики (напр., египетском, сирийском монашестве) речь шла о преобразении тела, но никак не о уничтожении его. Более того, принципиальная телесность человека нашла догматическое отражение, многократно подчеркивается, что Бог промыслительно сотворяет не очередное ангелоподобное существо, а именно человека во плоти. Различия лежат в другой области — какое состояние плоти следует признать наилучшим, что и связано с аскетической проблематикой. На этом фоне еще забавнее видится коллизия, возникшая в новоевропейской культуре и перешедшая «по наследству» в современность: в обиходной практике человек настолько сильно осознает свою телесность, что уже просто не знает, куда ее, так сказать, деть и что над нею сотворить (огромное количество соматически ориентированных практик, включая намеренное микротравмирование, смену устойчивых биологически константных состояний и проч. [3]), в то время как на уровне философской спекуляции тело очень часто как раз редуцировано, порой настолько, что редукция переходит в полную утрату.

Ренессанс наметил контуры неэффективного решения проблемы телесности, соединив чисто практический культ телесной вседозволенности с умозрительным подходом к телу. В этой ситуации попытки научного исследования тела, хотя и эффективные, но

достаточно скромные, по сути своей не только не находятся в поле ренессансной культуры, но принципиально противостоят ему, это явления опережающего характера. Все основные концепции ренессансной антропологии вполне умозрительны и последовательной научной верификации не выдержали бы уже тогда (в результате демифологизацией Ренессанса занялись позже, но оттого ничуть не менее успешно), был бы метод, принятый всею интеллектуальной элитой. Совпадение в историческом времени никак не означает внутреннего родства. Так, ренессансная концепция «гармоничного человека» была именно умозрительным эстетским конструктом, совершенно не соответствовавшим и обычному ренессансному быту, и биологическим моделям человека, соответственно, и в целом показавшим свою утопичность и недостижимость [4]. Особенности человеческого мышления, поведения, совершения выбора, обусловленные телесностью, необходимо трезво учитывать, даже если для этого и придется обозначить их как «недостатки» или «слабости», в противном случае прогностические возможности минимизируются, а человеческая популяция, ведущая себя в соответствии со своими соматически фундированными свойствами, обманывает ожидания, шокирует, потрясает — и заставляет пересмотреть неэффективную антропологическую модель. Беда в том, что на смену ренессансной модели были выбраны другие, страдавшие, как можно видеть, теми же недостатками. Ситуация вполне соответствует тому, что А. А. Пелипенко пишет об эволюции культурных систем: ответы на вызовы системных перемен в основном были даны «горизонтально», на прежнем же системном уровне, без восхождения на уровень более высокий и новый, что обещало лишь паллиативное и временное приглушение принципиальных проблем, обойти которые нельзя. Отсюда и повторяющееся потрясение при осознании того, что человек не просто ведет себя не так, как этого

ожидали, но более, он тем самым заставляет усомниться в пригодности привычных философских антропологических моделей. Однако регулярное и изоструктурное крушение прекраснотушних иллюзий не рефлегируется. Да и сами антропологические идеи Ренессанса были достоянием довольно узкого слоя полуэлитарной элиты. Но вплоть до сего дня люди предпочитают ужасаться, а не признавать негодности самих моделей (постоянно и стереотипно сетуя на их недоработанность или нежелание тех или иных индивидов непрерывно эти модели распространять). Перспектив улучшить взаимопонимание «гуманитариев» и «естественников» (за исключением отдельных случаев) в результате практически нет. Отношение к дисциплинам гуманитарного круга в медицинских и технических ВУЗах отражает не частные неудачи, порожденные несовершенством методики, а вполне объяснимое отторжение со стороны общества, или владеющего существенно иной антропологической моделью, или хотя бы стихийно и фрагментарно ориентированного на нее. Кстати, в порядке метаописания, можно указать на известный антропологический факт: у абитуриентов, поступающих на разные факультеты и в разные профильные учебные заведения, отмечаются отчетливые различия соматической конституции (например, у математиков отчетливо преобладают астенические черты). Но даже такие очевидные факты влияния соматического (в данном случае — конституционального) компонента на видение мира, целеполагание, постановки и решения проблемы выбора гуманитарная мысль предпочитает не замечать, используя априорное отрицание и добровольно культивируемую близорукость. Конечно, расставаться с удобными иллюзиями, в том числе и мифом общей одинаковости, порожденной, возможно, даже в первую очередь, десоматизированным мировоззрением — достаточно приблизительно знать масштабы индивидуальных вариаций антропологиче-

ческих показателей, чтобы эта одинаковость стала неочевидной, — не хочется. Еще более — с иллюзиями, ставшими компонентом и даже базой мировоззрения. Но тогда нужно последовательно заявить о переходе в область искусства, где мировосприятие индивида вполне самоценно и принципиально не хуже и не лучше другого, и отказаться от атрибутов научности, в том числе от верифицируемости, сколько бы ни критиковать ее возможности, и способности предлагать мотивированные и эффективные прогнозы. Проблема в который раз в истории науки вернулась к оппозиции «я знаю» и «мне кажется», «могу объяснить» и «уверен». Второй член каждой из этих пар характеризует устойчивое поведение: при столкновении с неприятной необходимостью внятно и убедительно обосновать свои взгляды и мнения обычно используют принцип «*Noli me tangere*». Даже формирование постнеклассической научной рациональности дела принципиально не меняет. Искусство, эстетическое мировосприятие обладает гносеологической и мировоззренческой функцией, но наукой от этого все же не становится. Адепт научности «нового типа» все же пойдет на консультацию к врачу, получившему профессиональную формуацию привычного классического типа. И диагностические исследования генетического или биохимического характера явно предпочтут делать у специалистов с «отстало-классическим» отношением к делу. Вообще, ситуация болезни обычно заставляет все-таки отнестись к своей телесности, по крайней мере, на время болезни, к знахарям, лечащим непонятно как, «материализацией чувственных идей», обращается меньшинство, причем обычно только пока не достигнут предел серьезной опасности. Когда знахари успешно осрамятся, визит к представителю традиционной привычной обычной медицины неизбежен, за исключением отдельных запущенных случаев. Равно как ходить предпочтут по мосту, расчеты конструкции которого делались человеком, не пы-

тающимся на практике стереть разницу между математикой и искусством. Отчего бы такое расхождение дискурса и праксиса? Отсюда, кстати, и массовые дефекты навыков простейшей первоначальной самодиагностики, масса медицинских суеверий, трудности с пониманием болезненного состояния другого с широким диапазоном неадекватности: от прозрения болезни там, где ее нет, до неспособности увидеть и оценить ее явные черты. Не случайно простые навыки первой доврачебной помощи часто усваиваются методом заучивания, в то время как элементарная «логика сомы» сделала бы их простыми, совершенно понятными и последовательными.

Новое время становится очередным наследником достаточно неудобного наследства. Но здесь ситуация начинает меняться, причем, по меркам исторического времени, очень интенсивно. Проблема размежевания вполне ощутимо формируется в эпоху Просвещения, но активно не рефлектируется, в основном оттого, что полемические ресурсы уходят на борьбу с религией и наиболее последовательными разновидностями идеализма религиозного толка. Правда, «гадину» в итоге было решено, по меткому выражению А. Пелипенко, до конца не давить, так как церковь оказалась основной конструкцией, поддерживающей мораль. В результате заряд проблематизации только нарастал, что обещало лишь более мощные коллизии в будущем. После просветительства XVIII в., совершившего соматический поворот, «возвращение к человеку, обладающему телом», не располагая еще серьезным фактологическим и методологическим фундаментом науки нового периода (а потому часто переходит в регистр декларативности и публицистичности), формируется уже вполне узнаваемое естественнонаучное знание с набором характерных для него методологических установок, способных даже при известной степени несовершенства внести хоть какую-то ясность и, что прин-

ципиально важно, убедительность, не основанную на эстетизме и гуманитарном профетизме. После Декарта и попытки создать теорию рефлекса, что было заблокировано опять же умозрительностью и недостатком накопленных знаний естественнонаучного плана, можно говорить о формировании двух ветвей в философии человека — англоязычной и германоязычной. Для английских философов, будь это Ф. Бэкон, Д. Беркли или даже Д. Юм, было характерно более или менее последовательное вынесение тела за скобки без его отрицания, в результате чего была расчищена площадка для антропологических теорий нового типа, для философствующих естествоиспытателей. Немецкий идеализм был более радикальным, Кант, не случайно так тщательно отмежевывавшийся от субъективизма английского типа, задал мощную традицию последовательной десоматизации, начало которой было положено философией трансцендентального субъекта. Видимо, это одна из причин того, что и немецкий радикальный материализм, вроде воинствующей философии Бюхнера и Молешотта (философская формация последнего протекала в Германии, он вполне может быть отнесен к германской линии этого варианта материализма) был в свою очередь столь прямолинейным и эпатирующим. Не случайно и социология возникает изначально как социальная физика или социальная биология — объяснение социального поведения человека оказалось затруднительным при элиминации телесности; рефлексологическая школа, наиболее известный ее представитель — П. Сорокин, выявила это очень рельефно. Не случайно разные варианты понимающей социологии при всей их привлекательности, занимают в современной социологии, как, впрочем, и психологии, периферийное место. Если учесть, что перед социологией была поставлена четкая задача разработки рекомендаций по урегулированию социальных конфликтов, то профетическое вещание в этом случае грозило крушением только

что обособившейся дисциплины. Кстати, весьма показательно, что неокантианские методологические мотивы были сильны именно в немецкой социологии, где научное мышление было под особенно сильным влиянием трансцендентализма и феноменализма. Для английской, да и американской социологии, отсутствие этих черт совершенно предсказуемо. Наступает четкое разделение, требующее методологического выбора. В этом контексте и философская антропология меняет отношение к телу. Но в пределах философского знания все же преобладает или, в лучшем случае, вынесение тела за скобки, или продолжение его спекулятивного объяснения, то есть внесение уже совершенно отчетливых гносеологических шумов. Результатом оказалось «великое размежевание» XIX в., внешне спокойное, когда ситуация после долгого эволюционирования приходит к единственно возможному состоянию. Оформление «гуманитарной» и «естественной» (сейчас мы не останавливаемся на условности этого обозначения, которая, разумеется, весьма велика, переход здесь более похож на спектр, а не линейную, секущую границу) сфер очень быстро перешло в фактическое состояние конфликта. Зато сам конфликт оказался парадигмальным и методологическим при всей даже на тот момент условности разделения разных отраслей научного знания.

Вместо «брака по любви», о котором говорил, в частности, И. П. Павлов (у Павлова имелся в виду «брак» физиологии и психологии), произошел разъезд и раздел имущества. В порядке этого раздела обособившаяся сторона унесла и немалую часть методологического «имущества», поставив тем самым другую в еще более затруднительное положение. В результате попытки обособить равноценность указанных сфер и перевести разные виды знания, претендующие на безусловную научность, в режим разнотипного сосуществования в пределах одного культурного пространства (классический пример — неокантианская концеп-

ция наук о природе и наук о культуре, вариант — о духе), на самом деле выглядели подобно гордому и глубоко ресентиментному заявлению брошенной стороны, что она прекрасно проживет и одна (а детей, согласно академическому анекдоту, сотворит путем самозарождения). Кризис психологии, не случайно совпавший с мощным прогрессом физиологии, является одним из множества ярких примеров (и являлся он типичным кризисом самоопределения, преодоленным вполне успешно, что произошло не только с психологией). Можно было бы говорить о ситуации острого методологического кризиса, если бы этот предполагаемый кризис не формировался и вызревал столь долго, что стал неизбежным в принципе. В результате многие утверждения и концепции гуманитарного знания превращались в непроверяемые декларации и доксы, в которых верифицируемость заменялась эстетическим эффектом некоего красивого научного профетизма, отсылкам к социальным идеалам, высокой миссии, недоступной примитивным «потрошителям лягушек» и т.д. Риторика узнаваема, так как старая и живучая. Романтизм с его тенденцией объединять для получения идеального единого знания существенно усугубил дело, но конечный эффект был уже не столь сильным из-за существования строгой науки нового типа в качестве контрбаланса (складывались научные институты, формировался новый этос, язык и система социальных отношений внутри науки и между наукой и иными институциональными локусами социального пространства, что не всем было приятно признавать [1]). Например, вопрос сходства, различия и равенства индивидов на уровне научно-гуманитарной декларации мог приниматься или не приниматься интуитивно, в выяснении того, насколько «все разные», или наоборот можно было бесплодно буксовать десятилетиями и даже больше. В результате естественнонаучная антропология и евгеника были почти вынуждены предложить свои ответы с мини-

мальным последовательным обоснованием и хоть какой-то проверяемостью. Так что за позднейшие евгенические, социал-дарвинистские и иные подобные эксцессы в какой-то мере ответственен и гуманитарный дискурс, вовремя не предложивший нечто существенное со своей стороны. А неудобство, например, ломброзианской антропологии для некоторых нежно чувствующих натур (что фиксируется даже контент-анализом Интернет-сферы) объясняется гуманитарно-эстетическим гносеологическим шоком, но никак не более. Точно так же обстоит дело и с исследованием искусства с точки зрения патопсихологии и психиатрии. Были ли иные варианты? Можно вспомнить о результативности знаменитого семинара, записываясь на который молодой В. Шкловский сформулировал цель посещений как показ полной ненужности этого семинара. При отсутствии внятных результатов деятельности одной исследующей инстанции с необходимостью наступает компенсация, а компетентность перераспределяется в пользу другой. Периодически встречающиеся современные рецидивы радикального материализма, часто среди профессионалов в области точных и естественных наук, вполне понятны, это реакция на дефицит верифицируемых и прогностически валидных моделей, предлагаемых гуманитарным знанием. В этом случае такой материализм, во многом похожий на материализм просветителей или «бюхнерианцев», становится реакцией досады, своего рода эпатирующей и травестирующей игрой. Нередко приходится слышать о «естественнонаучном цинизме», еще именуемом «базаровщиной». Чаще всего в этом контексте упоминаются медики. Однако такого рода скепсис и даже цинизм, получающий дополнительные профессиональные черты, во многом походят на результат разочарования в возможностях гуманитарного знания. Разочарованные или даже последовательные «ренегаты» демонстрируют классический сценарий поведения, когда объектом травестированного

осквернения становится прежде всего бывшее неприкосновенное пространство, утратившее ценность. Выражаясь фигурально, в анатомическом театре обретают утраченную телесность и определенную стройную систему взглядов на нее (хоть и не весьма обширную), некоторые из которых легко осязаемо проверить с помощью имеющегося под рукой инструментария. Судьба людей, желающих совместить качества успешного и квалифицированного врача с обладанием серьезными гуманитарными знаниями (просто хорошую начитанность и, например, талант переводчика мы не рассматриваем), часто ставит их в определенный момент перед тяжелым мировоззренческим выбором из-за несовместимости парадигм и угрозы раздвоения, реальной, хотя и не фатальной. Осознание телесности играет тут едва ли не ведущую роль. Конечно, эта ситуация не универсальна, но достаточно типична.

Целый ряд магистральных направлений современной философии вполне может задаваться вопросом, подобным манделштамовскому: «Дано мне тело — что мне делать с ним...». Утверждение телесности в повседневном праксисе (здесь наша культура вполне наследует самым разнузданным формам Ренессанса) сочетается с соматическим редукционизмом на философском уровне, что порождает абсурдную и небезопасную дивергенцию, дающую, помимо прочего, неэффективные модели деятельности, мышления, поведения, демаркации нормы и девиантности и т. д. Поэтому как наука, полемически противопоставившая себя бестелесной спекуляции, так и менее популярные направления в философии, принципиально включающие в свое поле тело как полноценную реальность, работают на смягчение этой дивергентности, стараясь, насколько возможно, смягчить культурную и ментальную деформацию, порожденную этой раздвоенностью. Неудивительно, что в русле упомянутой философии нередко находятся философствующие естествоиспытатели и вообще представители «негума-

нитарного знания». Один из наиболее интересных результатов, на наш взгляд, — это антропология А. А. Ухтомского, научно добросовестно выведенная из корпуса физиологического материала. Даже наблюдаемые случаи декларации крайних материалистических взглядов на человека, его мышление и психику в целом являются вполне понятной реакцией на превращение его в условно-телесного субъекта. Философская антропология, возникшая изначально и как контртенденция десоматизации, вновь поставила вопрос о том, насколько в ситуации XX в. возможно философствование о человеке и его соматичности без привлечения данных наук другого типа, прежде всего естественных. Это относится и к более поздним попыткам создать философию тела. Иначе спекулятивный дискурс о телесности грозит отбрасыванием в более ранние эпохи, когда такой дискурс уже существовал. Ситуация Ренессанса не может быть просто с небольшими поправками наложена на ситуацию века XX, хотя отрицание соматической обусловленности, равно как и соматической ограниченности целого ряда психических и психофизических феноменов — попытка реставрировать в XX в. иллюзии ренессансного теургического титанизма с его пафосом преодоления и снятия презренной природы. Это хорошо осознавал И. Т. Фролов, настаивавший на участии представителей естественных наук в антропологических исследованиях и порой выражавший скепсис по поводу реальных возможностей философского знания в традиционном его виде. Все это вписывается в картину системной реакции разочарования, а отнюдь не высокомерной агрессии. Требуется отдельного исследования вопрос о том, насколько десоматизирующий подход, ставший мировоззренческой импликацией, порой просто несознаваемой, минимизирует успехи в области психологического консультирования и психотерапии. Интересно, что набирающая популярность телесно-ориентированная психология (и некоторые

психотерапевтические практики, на ней основанные) сигнализирует о том, что ситуация «философского насилия» над телом требует срочного исправления и восполнения. Сложность здесь, на наш взгляд, в другом — тело в этом случае часто представлено как результат спекуляций и оперирования заранее заданными терминоподобными конструктами, что влечет очередной виток несовпадения видения сомы.

Частью гуманитарной программы является построение универсальной интерпретационной модели и универсальное же ее применение, откуда проистекают и методологические интересы, в целях отыскания и привлечения универсальной методологии единого знания и операциональности. На деле заявленный интерпретационный универсализм часто ограничивается эстетическими соображениями. Телесность оказывается препятствием, в том числе и на обиходно-предметном уровне. Г. Джейкоби замечает: «В эпизоде „Увольнение“ он наконец узнает, что за болезнь убивает девушку, и пытается рассказать об этом ей. Поскольку эта информация не спасет ее от смерти, девушка не хочет слушать Хауса. Хаус поражен: „Тебе неинтересно узнать, что убивает тебя?“ Родители девушки заставляют его покинуть палату, и, уходя, он говорит уже самому себе: „Как можно жить без жажды познания?“» [2: 20]. Сквозная идея сборника, статья из которого была процитирована: Хаус как носитель сократического метода, результативно достигающий понимания без теоретической декларации этой задачи. Скандальность же описанной ситуации состоит не в наличии в ее структуре смерти, а в попытке понять ее с привлечением соматического компонента, причем вполне конкретного и еще проявляющего признаки жизни. Равным образом, чисто эстетический шок мешает дать серьезный ответ на откровенно провокативные тексты, приглашающие как минимум к всецелой словесной баталии (вроде знаменитых «Этологических экс-

курсий по запретным садам гуманитариев» В. Р. Дольника (этот текст фактически предпочли не заметить). Чем больше случаев такого игнорирования, тем более усугубляется проблема десоматизации как мировоззрения.

Отсюда становятся понятными и судьбы психоанализа, научность которого, на чем настаивал его создатель, видимо, вполне искренне, была подвергнута критике как на естественнонаучном (В. Бехтерев), так и на общеметодологическом (К. Поппер) уровнях. Это не помешало психоанализу успешно прижиться как раз в гуманитарной среде и ярко окрасить своим влиянием тексты постструктуралистов (конструкты вроде «смерти автора» наводят на мысль о «танатосе», деконструкция порой трудноотличима от фрейдовской методики взлома рациональной защиты и т.д. и т.п.), увеличивая дистанцию между ними и классиками структурализма, ориентированными скорее позитивистски. Психоанализ, обращаясь к телесному, однако же чаще всего мистифицирует его, делая и следующий шаг — уводя свои утверждения из поля научной критики. В этом плане психоанализ — в значительной мере *enfant terrible* гуманитарного дискурса. На настоящий момент когнитивные исследования успешно демистифицируют и демифологизируют мышление, творческие процессы. Физиология уже достаточно давно сняла флер иррациональности со сферы эмоций. Когнитивный стресс, творческий эустресс являются не эпифеноменами, а полноценными, принципиально важными элементами этих и подобных процессов. На особенности их протекания, характер и объем результатов влияют уже такие хорошо изученные факторы, как конституция, особенности психики. Склонность к быстрой астенизации, фобическая окрашенность восприятия, последствия тех или иных травмирующих воздействий и многие подобные, давно известные вещи, могут очень сильно сказаться на результатах когнитивной и интерпретатив-

ной деятельности. Их учитывали и представители педологии, часто начинавшие составление психосоматического портрета с выяснения конституциональных черт и дифференциальной психологии (ср.: [6]). Идея устойчивой зависимости высших психических функций от сомы была дискредитирована не в порядке чисто научной конкуренции разных взглядов, а по совершенно иным причинам (процесс вытеснения ряда исследований такого рода в область патопсихологии требует отдельного интересного разговора, упомянем лишь, что соматическую детерминацию восприятия и мышления обычно охотно признают именно в случае болезни, например, травматической, при переходе же обсуждения в область здоровья опять совершается скачок к бестелесности). Некоторый момент необъяснимости, остающийся и сейчас, например, явно имеющийся экзистенциальный компонент в депрессивных состояниях, может считаться как раз тем «моментом необъяснимости», который имеет свое законное место, ликвидируется лишь его неправомерная гипертрофия. «Безостаточного» объяснения никто всерьез, конечно же, не требует. Давно стали ясны трудности идей универсальной грамматики. Однако идеи универсальной когнитивности все же находят своих культиваторов даже невзирая на чистую умозрительность предлагаемых моделей. Отсюда и идеи универсальных и успешных методов воспитания, игнорирующие во имя красивых целей объективные сложности, в том числе связанные с проблемами соматики. Можно, конечно, формировать поведенческие навыки, надстраивая их над системой ценностей (актуализируя последние анализом образцов поведения, описанного в учебных текстах), но факт гормонального влияния на эмоциональную сферу, а затем и на поведение, остается, как и ранее, одним из основных. Универсальная когнитивность — это еще и реакция на болезненную для многих демистификацию «ветвистой» гуманистической мифологии старого образ-

ца, активно строить которую начали просветители. Интересно и то, что в условиях мировоззренческого дефицита и дискурсивной убедительности может актуализироваться совершенно иная модель убеждения. Но это требует отдельного объема для анализа. Переосмысление всей концепции ценностей произошло в позапрошлом веке прежде всего в англоязычной философии, что отчасти было выражением изначального методологического скепсиса.

Думается, что по мере формирования единой парадигмы знания, возможность чего демонстрирует теория систем, десоматизация будет преодолена наряду с массой аналогичных проблем, имеющих аналогичный же описанный выше генез. Конкретные меры по ее преодолению требуют отдельного разговора, но упомянуть о преодолении дивергентности на уровне профессионального обучения стоит. Благоприятный опыт есть, например, Б. Завадовский читал в МИФЛИ подробный курс анатомии и физиологии нервной системы; по отзывам слушателей, это очень пригодились потом при решении логико-кибернетических задач. Что мешает знакомству с работами А. Лурия и А. Шмарьяна (или, в более популярном формате, О. Сакса), где подробно рассматривается, как физическая травма тела чудесным образом меняет ход когнитивных, интерпретационных, поведенческих процессов? Впрочем, в обучении педагогов эта проблематика присутствует, иначе сложно работать чисто практически, универсальная когнитивность тут буксует. А. Пелипенко, говоря о перспективах общества, культуры и науки, задает провокативный риторический вопрос о возможности для гуманитарных наук стать точными. При допущении перспективы такого рода проблема десоматизации выглядит преодолимой, последствия десоматизации — ликвидируемыми. О временных параметрах можно спорить, но с учетом того, что трансгуманистические проекты уже становятся реальностью, возможности для нового синтеза (который, впрочем, мо-

жет пройти и по сценарию поглощения, здесь не стоило бы обобщаться) в значительной мере уже имеются. На данный момент актуально осознание самой проблемы, ее сущности, генеза и последствий, как непосредственных, так и отдаленных.

Литература

1. Дмитриев И. С. Пьер Симон Лаплас — маленький император большой науки // Антропология революции. М.: Новое литературное обозрение, 2009. 496 с. С. 67—100.
2. Джейкоби Г. Эгоистичные, подлые животные, ползающие по земле: Хаус и смысл жизни // Джейкоби Г., Голдблат Г., Макмахон Д. Все врут! Хаус и философия. М.: Юнайтед Пресс, 2010. 244 с.
3. Чебанов С. В. Биологические основания социального бытия // Очерки социальной философии. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1998. С. 201—227.
4. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М.: Мысль, 1998. 750 с.
5. Пелипенко А. А. Контрэволюция. М.: Знание, 2016. 237 с.
6. Топорова М. Б. Конституциональные характеристики детства и юношества (опыт построения): строение тела, темперамент, среда. Л.: Ин-т охраны здоровья детей и подростков, 1929. 117 с.